

Тогда ехал я с юга, с дремного кавказского побережья. Джанхот был прекрасен, но весь месяц я что-то томился, мечтал уехать куда-то. Я устал от жары, от неожиданно свежих вечеров, когда по-над морем или в кустах белеют мужские рубашки, из дома отдыха слышна музыка, берег тенист и звучен от волн, а море плоско поблескивает, заполняет собой все пространство, звезды колются над горизонтом, и ты смотришь, думаешь, и кого-то тебе надо бы рядом...

После моря и заслоняющих гор хотелось прохлады, темноватой дневной зелени, речек, широты и далекости ровных русских полей. Изредка, просыпаясь в поезде, покуривая и выглядывая с полки в узкую створку окна, я мимолетно вспоминал Джанхот и видел дачу Короленко, узкий тальковый берег, высокую дорожку наверх и прозрачное марево в турецкой стороне. И еще Люсю, робкую девушку, очень миловидную и нежную, всю точно ленивую в своей нежности, в свободно опущенных, тонких и гибких, как прутья, руках, во взгляде, в том, как она шла по жаре с купанья и словно чувствовала мой взгляд на себе и знала, что я завтра уеду и, может, больше не встретимся.

— Уезжаешь? — сказала она, когда я попался ей у ворот. — Куда?

— Далечно, — ответил я.

— Ну что ж... — взглянула она обидчиво. — Счастливо.

«Не обижайся», — хотел сказать я.

Вечером за Россошью нас долго не отпускали с какой-то маленькой станции. Я ехал в последнем вагоне. Весь я был настроен на одно, и то, что жило и шумело под боком, не задевало меня, не занимало, как прежде, а всякие глухие полустанки, вид оставшихся за вагоном окрестностей, темное поле под откосом, его запах, чувство необозримого в засыпающей густоте ночи простора и песни из репродуктора в палисаднике близко и тонко отзывались во мне. Откуда вдруг приходит такое? Откуда приходит стеснительное чувство любви к жизни, к ожиданию редких мгновений и проезжим тихим местам? Пели на русский манер — протяжно, с тоской, и что-то народное, местное, и пели так, что поневоле увидишь перед собой речку, вечер, копны и все полевое, деревенское, зовущее...

В конце ночи я застал прохладный рассвет. Туман белыми клочьями вспухал над водой, и было похоже, что речка дышит со дна паром. Стукнулся и пролетел мосток.

— Подъезжаем, — сказал кто-то спросонок.

Когда же я снова проснусь в вагоне?! Когда же я сойду на рязанской станции и, уже что-то переживший, в чем-то переменявшийся, вспомню и тот август и себя? Когда?

Снится мне этот простой двухэтажный вокзал и древний пыльный город, где я в босоножках, в пиджачке и с саквояжем бродил до обеда по улицам, смотрел, спрашивал и по-детски удивлялся, как все привыкли и не замечают, не волнуются вместе со мной. Вот над рекой, над пристанью, легкие главы собора, спуск, женщины после базара, их разговоры и мой восторг, мое нетерпение услышать почему-то старую рязанскую речь, несли, увидеть такое, чего нет и не может быть где-то. Каким я тогда был! Таким больше не быть, и, верно, не то переживу я теперь, не так буду оглядываться, не постараюсь вызвать в себе каких-то совершенно особых, непритворных, но обожаемых чувств! И что же будет, чему поклонюсь, чем удивит меня жизнь уже в мои скорые тридцать лет?

Я сразу притих, сосредоточился и ждал, ждал чего-то.

На пристани я читал расписание, и старорусские названия остановок тоже бередили мое сердце.

Неповторимо было все, и долго потом вспоминал я день на пристани и всякий раз затихал душой. Я тогда ни на минуту не забывал, куда еду, и все, как нарочно, совпадало с моим настроением. И вот уже опять август, пестро выстилаются полевые дороги, а я все еще не могу собраться в луга, через столько лет, хотя и не века же прошли с тех пор, но все равно кажется, что и не со мной это было.

...Тот день выдался хмарным. После обеда припустил дождь, заволакивая берега, собор и повороты Оки, откуда поджидали катер. Женщины сначала галдели, закусывали, а к приходу катера скучно томились под крышей в проходе и накликали погоду. Куда-то им надо было, где-то ютились их деревни, и дома их ждали, и все им было привычно. А мне было все ново, никто меня не встречал, не к кому идти ночевать, и я этому радовался, гадая о деревне, о себе в ней. Почему-то виделась она мне без огней, с густыми деревьями и старинным укладом, чудились опять песни, такие, как вчера на станции.

Уж не подумаю я об этом теперь, и только чувства, наверное, вернутся, напомнятся, неожиданно найдет настроение.

От пристани катер отошел после дождя. Небо не успело проясниться. Ока кружила на виду куполов, и вскоре купола отделились, присели к земле. Я сидел на палубе, раскинув руки по спинке скамейки, оглядывался на повороты, на лодки, на копны по самому берегу. Я глядел на незнакомые окрестности, о которых до сего времени только слышал, и думал о прошлом. Ока все кружила и кружила, потом вдруг всплеснула радуга, и я наперед уже знал: не забыть мне по молодости ни лугов, ни пристаней, ни копен, ни себя, ни редких ночных огней и домишек на косогоре, где мы сворачивали перед тем, как пристать на место.

Как хочется вернуться той же дорогой! Вот уже вижу причал в Коростове, на полпути. Вижу безлюдный высокий берег, телят и лужи подальше. Вижу плавный сельский вечер с отсветами по окошкам, парня, который минуту назад прощался со мной, складывал гармошку и предвкушал встречу и выпивку. Я тогда мало подумал о нем. Он любил выпить и подразнить при народе встречаемых девчат, поболтать, потискать и пойти дальше, забыть навсегда. Плечистый, насмешливый, он только что сидел со мной рядом, играл и громко распевал, вел себя так, будто все ему приходилось соседями, ко всем обращался небрежно и просто:

— Дед! Тебе помирать пора, а ты в четушку заглядываешь! Что, тетка, смотришь, породниться хочешь? А вы, девки, куда?

— Далеко? — спросил он у меня.

— В Константиново.

— Живешь там, — подморгнул, — или к бабе?

— Нет, просто...

— А-а... О чем все думаешь? О девушке? — сказал он и растянул гармонь, забыл меня. — Угадал? — спросил погода.

— Нет, — сказал я и подумал о своем.

— Брось скрывать! — обнял меня парень и потрепал за плечо.

Было порой странно приглядываться к попутчикам и отчужденно думать об их судьбе, все время томясь своим, не осуждая их, а только понимая, что уже завтра они забудут меня, как забыл бы их и я в другие дни, а теперь нет, потому что я плыву по этим местам и все застревает во мне, все кажется иным.

Женщины изредка посматривали на нас.

— Не узнаешь? — спросил парень одну. — Не узнаешь меня?

Женщина уставилась на него.

— А я тебя помню, — сказал парень.

— Откуда ты помнишь?

— Ты ж в Костине живешь!

— Ну?

— Дядь Ваню Бодягина знаешь?

— А как же!

— Я ему зятем приходился.

— Да ну врать-то!

— Клянусь! Святая икона, крест по все пузо, чтоб мне счастья не было!

— Помер дядь Ваня.

— Когда?

— Порядком уже. Сорок дней справили.

— Ну ты-ы! — отложил парень гармонь. — Какой мастер был! Что печку класть, что дом поставить. А выпить иль песню спеть — и не ходи к гадалке. Помер, значит. Жалко.

— Так ты почему его знаешь?

— Дядь Ваню-то не знать! Говорю тебе: за его дочкой ухаживал.

— Ох врать-то, ох врать!

— Да ты что, тетка? Дядь Ваню не знать, ну ты даешь! Бодягина-то, а? Ну ты отмочила! Да его тут, если хочешь, все знали. Я уж и не вспомню, были ли у нас еще такие песельники. Да и вообще: что печку скласть, что дом поставить. А выпить — уж и молчу. И не ходи к гадалке.

— То-то что. Пьянчужка он был правильный.

— Пил, и дело знал, и в любой компании свой был. Он это что русские, там народные, что эти оперные — наизусть!

— Талант.

— Какой талант!

Он замолчал, потом повернулся ко мне, коснулся моих волос.

— Слушай, друг, — сказал я, — а ты не скажешь, здесь есть еще, кто застал Есенина?

— Здесь? Затрудняюсь сказать. Я, признаться тебе, этим делом мало увлекаюсь. От кого-то я слыхал, погоди... от кого же... Эй, бабы! — крикнул он женщинам. — Кто тут у нас Есенина живым видел?

— Это в Константинове надо спросить, их там много.

— Верно, друг. На месте спросишь. Пока, мне сходить надо. Может, еще доведется встретиться.

Он пробежал по сходам, поднялся на бугор и уже заиграл, запел и временами с кем-то перекрикивался. Женщины с палубы провожали его веселыми взглядами.

Пора наступила закатная, тучи распались, но солнца не виделось — день померк. Катер развернулся, парень помахал мне, и я пожалел, что никогда-никогда уже не увижу его, ничего не узнаю о нем. Трудно представить судьбу путников точно, получается на свой лад, и это здорово — встречаться, тут же жать руки и потом через столько лет волноваться, гадать о мелькнувших, все еще не привыкая к мысли, что жизнь редко сводит нас насовсем.

Дорожное, оно всегда неоконченное, всегда только с намеками и полуоткровениями, и оно зачастую памятнее постоянного и разгаданного. Его стараешься вернуть. Ту бы дорогу снова, такой же вечер... Ту бы женщину увидеть, ведь она еще там. И там ли?

Я шел с нею ночью от пристани, а на палубе она была среди теток, и я слышал ее голос после моего разговора со стариком, когда она стала вспоминать всякие случаи из жизни деревни.

Старик тогда подошел к поручням и громко спросил меня:

— Есениным, значит, интересуешься?

Я обернулся. Неопрятный, волосатый, с крошками в бороде, он был похож на нищего, каких немало бродило после войны по базарам и вагонам пригородных поездов. Лицо его было большое, испитое, и пахло от него водкой. Сказав, он добрыми невыспавшимися глазами посмотрел на меня с теплотой и тем притворным загадочным молчанием, на которое способны чаще всего пьяные.

— Дай, Джим, на счастье лапу мне, — сказал старик и грустно, но театрально повел головой.

Удивленный, я тогда не обратил на это внимания.

Я смутился. Давно не встречались опустившиеся люди, и старик поначалу меня потряс. Еще с детства я не умел прогонять пьяных и нищенков, и они приставали ко мне, изливались, плакали, клялись, лезли целоваться, а под конец, убедившись во мне, просили денег.

— Сыно-ок! — проникновенно сказал старик и вытер большим пальцем глаза. — Я был другом Есенина.

«Надо же!» — подумал я восхищенно. Он протяжно молчал, а я с нетерпением ждал чуда.

— Я был другом Есенина, — повторил он. — Не удивляйся, что я плохо одет, грязный, видишь, — показал он изодранный рукав пиджака, — ну и выпил, конечно, еду из Рязани к сестре, ну и выпил, — ведь все мы простые русские люди. Да! — Самозабвенно и театрально поднял он голову. — Едешь на его родину, паломничество, да, это хорошо, узнаю молодость. Сам таким был. Я помню еще старый Петербург, старых поэтов, их уже давно не печатают. А Есенин... Серега... как же! Серега-то мой, любимчик наш! — воскликнул он и стих, погрузнел, помолчал. — Я же его на своих руках хоронил. Мы хорошо дружили, кто бы мог подумать, что так случится... Я познакомился с ним, дай бог памяти, у... Клюева. Клюева знаете? Не знаете, его теперь мало кто знает. Сейчас, сейчас вспомню. — Он поднял руку ко лбу. — «Помяни, чертушка, Есенина, кутьей из углей да из омылок банных! А в моей квашне пьяно вспенена опара для свадеб да игрищ багряных». Доходит? Он былинный был, Клюев. Современная молодежь, наверное, и былин не знает.

— Как же вам удалось?

— С Клюевым-то? Я в Ленинграде учился в двадцатые годы. В институте Герцена, знаете? Вечный студент. В медицинском учился. Потом думал путейский закончить — бросил. Сил не хватило. Ну сколько можно учиться, верно?

Я жил в общежитии, а Серега в гостинице, не помню как она называлась. Бывало, звонит: «Сеня! Поедем к Клюеву!» Клюев, Ширияевец, Есенин — это же одна школа. Я говорю: «Знаешь, Сереж, у меня кой-какие дела, приезжай ты ко мне». — «Нет, поедем к Клюеву!» Друзья были, позднее разошлись. Клюев Айседору его не любил. Ох, бабища была! А Серега уже звенел. Он еще, когда поссорились, стихотворение про Клюева написал, я сейчас не вспомню дословно, да вы должны знать, там что-то... в клетке сдохла канарейка... Да.

— Ну и что?

— Эх, сыно-ок... Много еще можно порассказать. Чего только не было! К нам в конференц-зал Маяковский ездил. И вот, представляете, сначала выступает Есенин, Серега ведь красивый был. Есенин кончит, Маяковский выходит. Свист, топот! Маяковский тогда, да простите меня, вот так четыре пальца в рот — и ответную. Находчивый был, собака. А как поэт... Когда он сам читает, оно доходит, но разобрать его и-е-ро-гли-фы с листа — не дай бог. А Серега... У него все-таки пушкинский стих...

Он снова замолк. Стало совершенно темно, где-то в углу, по левому берегу, горел на пристани фонарь.

— А похоронили мы его на Ваганьковском кладбище. На его могиле девушки стрелялись. Дядя, у которого он воспитывался, ему деревянный крест поставил. Я, когда бываю в Москве, беру поллитру себе и поллитру Сереге. И иду на Ваганьковское. Выливаю на могилу и говорю: «На, Серега, утоли жажду». Крест проспиртовался, наверно, до самого корня. Он теперь сгниет только в том веке. Вот вы будете в Москве, зайдите на Ваганьковское, там, должно быть, ему памятник поставили. Да, много бы я мог, молодой человек, рассказать вам. Айседору знаете? Дункан, танцовщица. «Дунька», ее Клюев звал. Хо-хо-хо! Ей было за пятьдесят, а красивая, как девятнадцатилетняя девочка. За ней ухаживали четыре массажистки. Вот видишь, у тебя мало морщинок, сколько, девятнадцать есть? А-а, а если б тебе массажистку, шестнадцать можно бы дать. Серега любил ее, она из него все соки высосала. Вы знаете, как она погибла? Раньше носили длинные шарфы...

— Темно как, — сказал я.

Ветер продувал меня насквозь, руки посинели. Ночь заняла окрестности. И опять с какой-то слабой обидой я подумал о том, что никогда-никогда никто не узнает, каким я был в эту августовскую ночь на катере, и сам, быть может, с годами переживу свои чувства, а когда что-то напомнит о них, не узнаю себя.

Много стыдного и пьяного было в старике, и не тех слов, не тех воспоминаний жаждал я тогда.

Старик быстро мне надоел.

— Сынок, — сказал он перед уходом, — ты извини меня, старого интеллигента, но вы поймете меня: не хватает на двести грамм, завтра опохмелюсь, вы не одолжите?

Я остался один у перил.

Всегда не мог я спокойно видеть ночные поля. Выбраться бы сюда зимой, на снег, на завьюженные косогоры, пожить бы подольше, сойтись с людьми, походить в клуб, на свадьбы, поездить в лес и в луга, подумать о чем-то.

Я поеду той же дорогой и сойду там же в тот же поздний час. Не помыслю, как это будет, но все отзовется шорохом давней наступающей ночи, когда я шел от реки с молодой женщиной.

Мы взбирались в гору под густыми тополями. Было так темно, что мы чувствовали друг друга лишь по движению, по шарканью наших шагов да по голосу. По голосу я и определил, что она молодая. Я спрашивал о ночлеге.

— Я бы вас к себе пустила, — сказала она, — да у нас тесно.

Она нечаянно оступилась, ойкнула, и я подхватил ее поперек груди, и мы на мгновение замерли от неловкости и постояли молча, дыша, воображая каждый свое, а во мне где-то колыхнулось желание повстречать на чужой стороне женщину, которая бы мне долго помнилась после.

— А вы к кому? — уже натянуто спросила она, когда пошли.

— Ни к кому.

— По делам?

— И не по делам, и не в гости.

— У нас тут по-всякому хорошо. Вот это Кузьминское, — показала она рукой, когда мы вышли на свет окон. — Константиново туда дальше. У нас тут Есенин родился, слышали, наверно?

— Как же...

— К кому ж вас устроить?

Мы подошли к одному дому — там спали, к другому — там мешали маленькие дети, и пока хозяйка извинялась, советовалась с крыльца, я разглядел под окном лицо моей провожатой - русское, симпатичное лицо, которое в деревне и в сумерках бывает прекрасно.

От дальней дороги меня охватила слабость, клонило ко сну: прикорнуть бы или сесть под иву и ничего не желать, ни о чем не спрашивать — только ощущать, что ты дальний, что все сбылось — вот она, та деревня! — что уже поздно и никого у тебя здесь нет.

Она привела меня наконец к высокому дому, постучала в завешенное платком окно:

— Баб Филь! Не спишь?

Кто-то отвесил платок, недобро всмотрелся, приставив ладошку к бровям. Долго бабка выпрашивала, наконец впустила. Интересно, жива ли еще она?

Когда она впустила и рассмотрела меня, сразу сделалась доброй, посадила за стол и принялась кормить да расспрашивать.

— Ну, теперчи, ты ж чей будешь? — Села она напротив, подперлась кулачком и смотрела на меня маленькими глазами.

— С моря еду.

— Вот оно что! — удивилась она, как будто море было на краю света. — Чего ж ты сюда: родственники какие иль как?

Я ответил.

— А-а. Ну это еще ничего. Это ничего, милай. Это не ты первый.

— Вы Есенина помните?

— Как же, видела. Есенин-то, как же. Он тут, в Киньстинтинове, жил. У него, сказать, и мать еще живая.

— Умерла.

— Померла? Когда ж она успела? Ужто я забыла? Надо же...

— Ну а какой он был? Есенин-то?

— Какой он был... — Она собрала в горсть губы и потеряла щеку. — Такой вот, как ты.

— Да что вы...

— Ей-богу, только этак пониже тебя, а волос такой же. Нашенский он был, простой. Да, простой был. Не знаю, для кого он там, как говорится, поет, а нам он простой был. Есенин и Есенин. Из нашей деревни. У Тани-монашки — мать-то его! — говорят, бывало, сын приехал. Ну, приехал и приехал. Не побежишь же. У меня их семеро на руках было — до Есенина мне! Говорят, решил, — прибавила она с тайностью, как будто это случилось вчера. — Да, милай, решил, говорят. Чего бы это ему?

Как было и о ней не подумать, не почувствовать ее долгую жизнь!

— Теперчи сказать, мать у тебя есть или кто?

— Мать. В Сибири.

— За Москвой, значит. В холодном краю.

— В холодном.

— Пишет мать-то, как чего: молочко там, с продуктами — хватает?

— Как и везде.

— Да, как и везде. Ну а сестренки, братики какие есть?



— Один я у нее.

— Один, да, один. Плохо, когда один. Когда много, глядишь, не тот, так другой подсобит. А ты вот, дай-ка, забудешь мать — и все. А у меня вот дочка в Москве, — вздохнула она и сгребла по клеенке хлебные крошки. — Еще подлить? Сына одного, старшего, убило на войне, да, убило сына. Один вернулся, живет тут недалеко, с бабой своей плохо ладит. Двойняшки были, схоронила в голодовку. Семеро было, а теперь одна.

И встала, ушла к печке, живо, с укором сказала:

— Ты вот тоже бродишь, интересуешься все разным, а мать там, дай-ка, плачет, дожидается. Вот зачем ты приехал сюда, чего не видал, не пойму?

— Вернусь, никуда не денусь.

— Вернешься. Это еще ничего. — На ходиках было уже двенадцать.

— Так это тебя Паранька ко мне направила? — спросила бабка.

— Вы про эту женщину?

— Ну да, про нее, баба она или девка, шут их сейчас разберет. Чего же она к себе не впустила?

— Тесно.

— Те-есно? Ай, трепушка! Я ей вычитаю. Тесно! Одна она живет, тесно!

— Баб Филь, еще что-нибудь про Есенина, — попросил я не слишком охотно.

— Что ж, милай, я кузьминская, а Есенин киньстинтиновский, я, сынок, мало знаю.

Про него больше в Москве знают, люди ученые. И то надо сказать: хорошие они люди были, хорошие, милай. Только вот решился он, чего бы ему?

Я смотрел, какая она старая и все еще неугомонная, и на сколько же она пережила многих помоложе себя, и думать, что они могли быть теперь еще с нами, было горько, потому что их не было с нами, и этого ведь не вернешь.

— Эк дождь какой, — огорчилась бабка, шурясь на мерцающие за окном капли. — Протекает моя крыша-то в сенках. Хоть чашечку подставить. — И побежала в сени, гулко обронила на пол чашку, хлопоча и разговаривая сама с собой. — Приезжал вот, говорила ж ему: «Сынок, ты покрой мне крышу-то, текет...» — «Ладно, мама, я покрою, только ты мне поллитровочку поставишь, чтоб жена не знала». — «Ну поллитровочку уж так и быть». Дак он чего ж, сукин сын, сделал: половину укрыл и заколенился... Ишь, текет-то! Надо еще одну чашечку.

За окном по крыше, по ставням и по крыльцу мягко шуршит, лопочет ночной дождь. Шуршит, наверное, и по всей деревне, за околицей, и по лугам, и под окном Параньки, которая проводила меня сюда, ушла, а я теперь думаю о ней. Шумит, льется и около дома, где давно уже нет хозяев, пусты и холодны комнаты в нем, не горит свет, никого нет, и никого никогда не будет по ночам. Не встанет поутру мать, не поздороваются с улицы соседи, не запоют в снежный вечер задумчивую песню — никогда этого не будет в их доме. А дождь шумит, мокнут сейчас пристани, а я здесь не сплю, томлюсь, мне хорошо, как никогда.

Я уже не задавал бабке вопросов. Сколько прошло с тех пор, так много было всякого — и забот, и горя, и у каждого свое, — что где уж помнить про все далекое и минувшее!

Я стоял на крыльце и слушал плеск дождя. Он стихал. Я подошел к калитке. Потухли на улице огни, и дома чуть проступали во тьме скользкими окошками и крышами.

Необъяснимая грусть одолела меня. Как-то все сразу увидел и почувствовал я.



И счастлив я был, но о чем-то все же жалел. Почему так хотелось мне, чтобы из лугов доносился одинокий женский голос?

Ока лежала внизу за домами.

Я оттянул калитку и пошел по улице, в глубину деревни. Шел и все примечал, все вглядывался в ночь и не верил, что я уже в той самой деревне. Казалось, давно я уже где-то видел ее, давно-давно жил в ней и вот вернулся, узнаю ее снова! Улица вдруг расширилась, справа подуло, запахло рекой. Я пробрел немного вперед и на левой стороне угадал дом с табличкой. Тонким дальним звоном закололо мне уши. Боже мой, сколько минуло лет, да и было ли это на свете? Я стою перед окнами, перед дорожкой в огород, перед калиткой, и буквы на табличке слипаются в мутную беловатую полоску, но все-таки прочитываешь то, что не видно...

Все спят, и никто никогда не узнает, каким я стоял в тишине... Один, видно, раз бывает так в жизни. Один раз не возвращаешься даже к матери. А когда вернешься, увидишь, как она бежит к тебе, побросав ведра, и опять что-то поймешь.

«Сынок, — всплакнет мать у двери, — я уж думала, ты и не придешь. Ездишь где-то, как цыган, а чего ездишь, один бог знает. На что оно тебе все? Навыдумываешь себе...»

Я подошел к Оке. Река мелко плескалась у берега и поворачивала вдали в сторону яра. Молчали, укрылись темнотой луга. Как прохладны, пусты они теперь! Увижу ли я их через год или позже? И как это будет? Каким я приеду, о чем подумаю, что вспомню?

И повторится ли для меня ночь ранней молодости — такая удивительная, благодатная, почти песенная: ночка темная, ночка темная да ночь осенняя?